

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

Хроника себя

31

№ 39
(1677)

5
марта
2005

РОМАН И ГАЗЕТА

НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Войнович Виктор

30.03.05

1 - 31 - 31

Глава первая

Родина и родня

Я всегда хотел жить на одном месте, иметь дом, огород, сарай и собаку. Но на одном месте мне жить не удавалось, дома, сарая и огорода не приобрел, завести собаку в свое время не собрался, а теперь это было бы безответственно.

Жаловаться мне вроде бы и не пристало. От жизни я получил гораздо больше того, чего ожидал вначале. В молодости и не только вел себя легкомысленно, жизнью и здоровьем не дорожил, попадал в разные переделки, дожидаясь старости и кое в чем преуспев. Но все-таки судьба недодала мне чего-то такого, недостатка чего я чувствовал всю жизнь. Учился я нормально только в первом классе, а потом еще чуть-чуть в деревенской школе и немного в вечерней. Полтора года в институте ходил за стипендией. Из известных мне литераторов моего поколения, кажется, только Владимир Максимов учился еще меньше меня.

Это что касается моего образования. Не лучшим образом обстоит и с местом жительства. Есть сложившееся мнение, что для любого писателя важна его душевная привязанность к тому, что называется «малой родиной». Он может писать о чем-то, казалось бы, совершенно не связанном с его личной биографией, но все равно за всем, что он пишет, маячат околица, или крылечко, или березка, или подъезд, или соседи, школа, товарищи, любимая учительница. В моей памяти таких примет не сохранилось, потому что до двадцати четырех лет ни на одном месте я долго не задерживался и, только попав в Москву, осел в ней на четверть века (и сидел, пока не выгнали). А до того менялись города, деревни, гарнизоны, школы, соседи, товарищи, наречия, природа и ее дары. Урюк в Таджикистане, паслен в Ставрополе, брусника на кочках вологодского леса и вишня ведрами на запорожском базаре. Могилы родных тоже раскиданы. Один дед похоронен в Ленинабаде, другой на Донбассе, одна бабушка в Запорожье, другая в городе Октябрьский в Башкирии, мама в Орджоникидзе (не во Владикавказе, а в более чем захолустном городке в Днепропетровской области), папа в Керчи, сестра в Запорожье, жена в Мюнхене. На ее могиле я бываю постоянно, остальные часто не посещаю по недостатку возможностей, а посещать редко боюсь, точнее, не бываю там вообще, утешаясь тем, что после меня ухаживать за ними и так будет некому, и они запустеют. Сейчас или через десять лет – для вечности, в которой они пребывают, разница небольшая. Да и что с моей могилой будет?..

Но мне еще повезло. У меня были мать и отец, бабушки-дедушки, а с отцовской стороны известны даже очень отдаленные предки. А вот мой друг Миша Николаев вырос, не имея о родителях никакого представления. У него были причины думать, что их обоих в 37-м году расстреляли, но кто они были и хотя бы как их звали, он пытался узнать, но не узнал и всю жизнь так и прожил под фамилией, данной ему в детдоме. В детдоме вырос солдат, из армии попал в лагерь и просидел около 20 лет. Потом Миша написал книгу про детдом и не знал, как назвать. Моя жена Ира посоветовала так и назвать: «Детдом», что он и сделал. А я ему советовал написать трилогию: «Детдом», «Дурдом» и «Заключение». Мише мой совет понравился, но воспользоваться им он не успел...

Однако вернуться к себе. Если кому интересно, родился я 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, бывшем Дюшамбе, будущем Душанбе, столице Таджикистана. Отец мой в то время был ответственным секретарем республиканской газеты «Коммунист Таджикистана», а потом по совместительству (не представляю, как можно было это совмещать) еще и редактором областной газеты «Рабочий Ходжента». Мать моя работала с ним. Я обычный в автобиографии указываю, что мать была учительницей математики, но учительницей она стала позже.

Летом 1936 года отца арестовали за, как было сказано, пр/пр (преступления), пр. (предусмотренные) статьей 61 УК Таджикской ССР или 58/10 УК РСФСР – антисоветская агитация и пропаганда.

Конкретно его пр/пр заключались в том, что, будучи на летних военных сборах, он как-то вечером за рюмкой водки или стаканом чая оказался участником идеологической дискуссии трех сослуживцев. Один из них сказал, что по его личному мнению коммунизм вряд ли может быть построен в одной отдель-



Рис. ГЕННАДИЯ НОВОНИЛОВА

но взятой стране в условиях капиталистического окружения. Другой (мой отец) с ним согласился. Третий промолчал, но назавтра настрочил «компетентным органам» донос на первого и второго. Что случилось с первым, не знаю, но отца моего посадили. Ему повезло, что его арестовали до 37-го года, а процесс состоялся в январе 38-го. Обычно в те времена врагов народа судили на скорую руку. С моим отцом было не так. В течение полтора лет допросов следователи добивались от него признания себя виновным в том, что он допустил контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране. Отец уточнял, что не считал возможным построение полного коммунизма в одной отдельно взятой стране в условиях капиталистического окружения. Построение неполного коммунизма допускал в любых условиях, а полного только после мировой революции. В конце концов суд, учитывая смягчающие вину обстоятельства (возможность построения коммунизма подсудимый отрицал лишь частично), а также низкий образовательный уровень подсудимого (образование его – три класса реального училища – было записано как низшее), наличие у него малолетнего сына Владимира и руководствуясь принципами пролетарского гуманизма, приговорил подсудимого к пяти годам лагерей. Подсудимый, превратившись в осужденного, поехал на Дальний Восток, а малолетний Владимир с мамой, бабушкой и дедушкой был перевезен в город Ленинабад, где по будням посещал детский сад, учил буквы по плакату «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», а в выходные дни ходил с бабушкой в женскую баню.

Тогда Ленинабад (бывший Ходжент) оставался почти таким, каким был и за тысячу лет до того, – одноэтажным, с грязными арыками, пыльными топочными и толстыми акациями, которые, как почтительно утверждало предание, были посажены Александром Македонским, жившим до нашей эры. И ничего удивительного: Ходжент и при мне жил, как до нашей эры.

Но что-то и из новых времен там уже было. Железная дорога, автомобили и бипланы У-2, хотя основными приметами пыльных ходжентских улиц, дворов и базаров оставались верблюды, вола, ослы, бездомные собаки, слепой с лицом, побитым оспой, прокаженный с колокольчиком на шее, чайхана, таджики в стеганых халатах и с голыми брюхами, таджикские с лицами, закрытыми паранджой из конского волоса.

Из обуви помнятся ичиги – мягкие сапоги очень хорошей кожи, без подошвы, и галоши, блестящие, с красной ворсистой подкладкой и пупырыстыми подошвами. Богатые люди ходили в ичигах с галошами, беднее – носили ичиги без галош, еще беднее – галоши без ичиг, а совсем бедные не имели ни ичиг, ни галош.

Это было время, когда люди ездили в пролетках и фазтонах, белье стирали на ребристых стиральных досках, его же колотили толстыми рубчатыми кусками дерева и полоскали в реке, в утюгах раздували древесный уголь, простуженное горло полоскали керосином, а зубы драли так, что слышно было в другом квартале. Мелкие торговцы развозили по дворах на ишаках жвачки: кусок вара – пять копеек, кусок парафина – десять. На тех же ишаках прибывали к нам во двор восточные сладости: петушки, тянучки и самое вкусное блюдо на свете – что-то сбитое, кажется, из яичных белков с сахаром и еще с чем-то, белое, как снег, густое, как тесто, и сладкое, как сама сладость, под названием мишоло, переименованным русскими в мешалду.

На ишаках же, иногда запряженных в двухколесные тележки (а чаще в мешках, перекинутых через спину), возили молоко, уголь, дрова, да чего только не возили. На ишаках с зазывными криками разъезжали точильщики ножей, лудильщики кастрюль и старьевщики. Наша улица тянулась вдоль берега реки Сыр-Дарья и называлась Набережная. Между улицей и берегом была еще булыжная мостовая (с арыками по обе стороны), за ней луг, а уж за ним река, отгороженная от луга насыпной дамбой против наводнений. Берег был песчаный, пологий, там женщины купались в трикотажных рейтузах с резинками под коленями и в полотняных стеганых лифчиках, а мужчины либо в кальсонах, либо совсем нагишом – входя в воду или выходя, прикрывались ладонями. А на лугу, готовясь к битвам с мировым империализмом, тренировались кавалеристы в фуражках с опущенными под подбородок ремешками. Они скакали на лошадях, преодолевали препятствия и рубили лозу, взмахивая длинными, сверкающими на солнце шашками.

Мир, повторю, в целом оставался таким, каким был и при Александре Македонском. Мощь армии все еще измерялась количеством сабель. И в этом краю безумные люди путем насилия пытались построить самое справедливое и процветающее общество. Гордиться своими предками так же глупо, как и своей национальностью, но зная свою родословную, если есть такая возможность, по крайней мере, интересно.

Лет двадцать пять тому назад в Америке вышла и стала бестселлером книга Алекса Хейли «Корни» (Roots). Чернокожий автор искал в Африке и нашел сведения о своих отдаленных предках, которые хотя и были рабами, какую-то память о себе все же оставили. После этой книги многие американцы кинулись копаться в своих родословных. Примерно то же произошло и в России с некоторым запозданием. Советские люди часто своих корней не знали и знать не хотели, или, зная, скрывали, зато теперь розыски родословных так же популярны, как клadoискательство.

Мне ничего искать не пришлось. Из Югославии как-то прислали мне книгу, где мое родо-

словие расписано начиная с 1325 года. Родоначальником нашей фамилии был некто Войн, князь Ужичкий и воевода сербского короля Стефана Дечанского. После него по мужской линии известны все до единого, включая меня и моего сына Павла. Войн был, наверное, самой важной персоной в нашем роду, но и среди его потомков случались люди, прославившиеся на том или ином поприще: писатели (наиболее известный – драматург Иво Войнович), генералы и адмиралы итальянские, австрийские, русские. Были даже венецианские дожи. Два адмирала Войновича служили в России одновременно в XVIII веке. Йован участвовал в Чесменском сражении, Марко командовал первым на Черном море линейным кораблем «Слава Екатерины», а затем и всем Черноморским флотом. Мои предки поближе были не столь именитыми, но тоже моряками. Прапрадед Шпиро (Спиридон) на Адриатике в Которской бухте имел собственный флот, шесть его сыновей были капитанами дальнего плавания. Во второй половине XIX века все шестеро пришли в Россию и здесь остались. Мой прадед Николай Спиридонович никаких дворянских званий уже не имел, но стал Почетным гражданином Одессы. На нем и на его братьях морская линия Войновичей прервалась, его пятеро детей стали людьми сухопутными. Павел Николаевич, мой дед, был мелким железнодорожным служащим в городе Новозыбков, тогда Черниговской губернии, потом Брянской области. Его жена Евгения Петровна служила народной учительницей и получала жалованье 30 рублей в месяц. Не знаю, сколько получал дед, но знаю, что они имели трех детей и держали прислугу.

О происхождении Евгении Петровны я при жизни ее не интересовался, а теперь и спросить некого, кроме моего двоюродного брата Севы, но он и сам не знает почти ничего. Кажется, она была дочерью полицмейстера Тирасполя. Когда перед самой войной мы с ней встретились, у нее от прошлой жизни еще оставалось несколько вилок-ложек фамильного серебра, на них было выгравировано «Мировь».

Из предков с материнской стороны я знаю только дедушку с бабушкой. Они были евреи из местечка Хашцеваты не то Одесской, не то Херсонской губернии. Дедушка до революции владел там тремя мельницами. Когда мы жили в Ленинабаде, он был старый, но получал ли пенсию, не знаю.

Пока отец сидел в лагере, мама писала письма Председателю президиума Верховного Совета СССР или, как его называли, всеозному старосте дедушке Калинину, которого уверяла, что муж ее хороший советский человек, сердцем и душой преданный партии, правительству и лично товарищу Сталину. Она не знала, что жена Калинина тоже сидит в лагере, и он, будучи формально главой государства, не может освободить даже ее. Не зная этого, мама была уверена, что слова ее в конце концов дошли до дедушки и растрогали его. У нее были основания предаваться такой иллюзии. В начале 41-го года дело моего отца, как и многих других, было пересмотрено. Новый суд нашел, что его высказывание о невозможности построения полного коммунизма в одной отдельно взятой стране было результатом не осознанного враждебного умысла, а незрелой политической мысли. Отсидев почти полностью свои пять лет, отец был не только освобожден из заключения, но даже реабилитирован и в мае вернулся домой худой, небритый, в рваной телогрейке и стоптанных рыжих армейских бусах. Я, пять лет веривший маме, что наш папа в командировке, был потрясен его видом: я не так представлял себе людей, возвращающихся из командировок. Правда, я не представлял их никак. Но на другой день, когда он отмылся, побрился и переоделся в хранившийся все пять лет коверкотный костюм, то сразу стал таким, каким я его и представлял.

Отца не только реабилитировали, но даже предложили вернуться в партию, от чего он решительно отказался. «Вашу партию, – сказал он секретарю обкома, – больше никогда в жизни». Когда отец рассказал о своем разговоре в обкоме маме, она схватилась за голову. Она была уверена, что его не сегодня завтра опять арестуют, и дедушка Калинин больше ей не поможет. Оставаться отцу в Ленинабаде – значит рисковать новым сроком. И мать с отцом договорились, что он возьмет бабушку и меня, бабушку ответ в Вологду к мамину брату Володе, а мы поедем в город Запорожье, где жила с мужем, матерью и двумя сыновьями сестра отца Анна Павловна.

Продолжение следует